ДРОБИЦКИЙ ЯР

Увалы Дробицкого яра
огнем осеннего пожара
испепеляюще горят.
В траве и ветках дикой груши
парят расстрелянные души,
горюют, молятся, скорбят.
Вот этот кустик цвета меди
носил когда-то имя Мендель,
он был сапожник и трепач.

Тот одуванчик на полянке
никто иной, как ребе Янкель,
веселый харьковский скрипач.
В ромашке — призрак человека:
библиотекарша Ревекка
вдыхает солнечную пыль.
А там, в круженье листьев прелых,
танцует вечный танец «Фрейлехс»
босая девочка Рахиль.
«Жи-ды!..» — предатели орали,
когда толпу фашисты гнали
сюда, за тракторный завод.
Людей в евреях отрицая,
толкали в яму полицаи
калек, и старцев, и сирот.
Как вещий символ катастрофы,
мать восходила на Голгофу,
собой прикрывши малыша.
Хор автоматов монотонно
отпел библейскую Мадонну,
мольбы и выкрики глуша.
Я — тот малыш. И невидимкой
лежу с убитыми в обнимку
в том окровавленном яру.
С презрительной нашивкой «юде»
среди затравленного люда.
Я — мертв… И дважды не умру.
Давным-давно все это было...
Но черносотенного пыла
не охладили реки слез.

Не жаль погромщикам усилий,
чтоб в старом эйхмановском стиле
еврейский разрешить вопрос.
На склонах Дробицкого яра

от оружейного угара
еще туманится роса.
И тридцать тысяч монолитно,
как поминальную молитву,
возносят к небу голоса.

* * *

Талант и совесть неразъединимы.
И взрывчаты поэты, и ранимы,
поскольку душу таинство томит,
как спрятанный в подвале динамит.
Без дара совесть неосуществима,
невоплотима, словно пантомима,
где в жестах — и огонь, и страсть, и зов,
но не хватает голоса и слов.
А совести лишенные таланты
нелепы, как безрукие атланты,
чьи мускулы, и мощь, и удальство
не держат никого и ничего.

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОЛГОФУ

1.

…Но в час, когда накатит вдохновенье
и сердце ищет образы и звуки,
минута сокровенного прозренья
становится моментом высшей муки.
Взывает плач тишайшего моленья,
и зоркости провидческой избыток,
и жертвенное слово искупленья
к душе, изнемогающей от пыток.

Тогда, подвластен горнему искусу,
духовную пророча катастрофу,

поэт уподобляется Исусу,
идущему смиренно на Голгофу.

2.

Мне выпало в мире жестоком родиться,
что разуму непостижим,
где нет милосердья, но есть любопытство
к смертям и страданьям чужим.
Века притерпелись к мольбам и проклятьям,
и, бренностью быта объят,
народ мельтешит под библейским распятьем
бесстрастней, чем циник Пилат.
Кто хлебом надежды поделится с голью,
кто крикнет толпе: «Аз воздам!»?..
Привыкли к лицу, искаженному болью,
к пробившим ладони гвоздям.
И братья-земляне, в ком дух умирает,
чью совесть сожгла суета,
две тысячи лет равнодушно взирают
на крестные муки Христа.

* * *

Мне помогают жить слова
и впасть в отчаянье мешают.
Когда в тревоге голова,
они, как люди, утешают.
Свою спасительную роль
играют честно и без страха.
И могут снять любую боль,
как жест тибетского монаха.
Им чужды выспренность и ложь.
Лишь Истина — для них святое.
Постмодернистский выпендрёж
несовместим с их простотою.
Для моды не беря в залог

злой эпатаж блатного флёра,
они трагичный монолог
судьбе диктуют без суфлёра.
И сердце до таких высот
возносят к Божьему покою,
что можно, кажется, вот-вот
потрогать ангела рукою.
В них — благодать и забытьё
души средь жизни оголтелой.
А ржавой фальши остриё —
как гвоздь, что вбит в Христово тело.

КЛАССИЦИСТ

Прощай, эпоха сантиментов,
чувствительных интеллигентов,
способных плакать над строкой.
Теперь крутые московиты,
и холодны, и деловиты,
творят свой бизнес день-деньской.
Им не до слез и не до шуток,
их прагматический рассудок
нацелен в область барыша.
Век — в беготне, скороговорках…
А на залузганных задворках
ютится бренная душа.
Лишь я, романтик вдохновенный,
стучась в бесчувственные стены,
дурацкий расшибаю лоб.
Среди лихого постмодерна
и впрямь я выгляжу, наверно,
как ретроград и остолоп.
Над прахом попранного духа
царит житуха-нескладуха
в извечном поиске монет.
Кому благоволит удача,

имеет баксы, тачку, дачу…
И только Бога, Бога нет!
Среди трагического мира
не знаю высшего кумира,
чем царскосельский лицеист.
Но от тусовок в отдаленье
бросают мне, как оскорбленье:
«Да ты, дружище, классицист!»
Нет, классицист — не значит классик,
но этот титул душу красит.
И пусть я нынче нищ и гол,
я — чувств возвышенных наследник,
и, может быть, я из последних,
в ком жив классический глагол!

МАСТЕР-КЛАСС

Северянинским ананасом,
хлебом с хлебниковской руки
и есенинским ассонансом
насыщал я свои стихи.
Всё цветаевское дикарство,
мандельштамовское клише
и кирсановское штукарство
примерял я к своей душе.
И портачил я, и ишачил,
гумелёвил и пастерначил,
чичибабил даже чуть-чуть.
С переимчивой ноты начал,
но себя я переиначил —
и нашёл свой особый путь!
От мычаний, рычаний, ржаний,
веря Голосу и Судьбе,
от ребяческих подражаний
я пришёл к самому себе.
И из песен-незавершёнок,

то наивных, то отрешённых,
на виду изумленных рож —
из поношенных распашонок
вырос, выпростался Вальшонок,
тот, что сам на себя похож!

Я — ПОЛЕ БОЛИ!
(триптих)

1.

Жесток и мнителен, как Цезарь,
не первый день, не первый год
во мне живет незримый цензор
и строки лучшие сечет.

Он в покровители рядится,
моим пеняющий добром.
И мысли, не успев родиться,
мертвеют под его пером.
Он озарения, как скверну,
жжет, не скрывая торжество.
О совесть! Помоги мне свергнуть
в груди тирана моего…

2.

Я — поле брани, я — поле дряни,
что так искусно в меня внедряли,
внушая догмы и постулаты,
что величавы и туповаты.
Я — поле битвы, я — поле бритвы,
прижатой к горлу в момент молитвы.
Но уберите от горла руки,
чтобы свободно исторгло звуки.
Я — поле боя, я — поле боли,
меня топтали, меня мололи,

но жив остался под жерновами,
и потому я — сегодня с вами!
Быть полем схваток мне так обрыдло,
быть надоело рабом и быдлом.
Хочу быть просто зеленым полем
любви и света, добра и воли.

3.

Мученики слова, страстотерпцы,
все мы так от жизни далеки.
Как ребенка, пестуем под сердцем
вещее младенчество строки.

Ощутив интимность как глобальность,
в мощь глагола веруем всерьез,
превращая в зримую реальность
смутные виденья наших грез.

С яростью наивных Дон Кихотов
воздевая копья и щиты,
заразить надеемся кого-то
пламенем любви и доброты.

Что толпе до Божеского света?
Что для повседневности — века?
И зеваки смотрят на поэта,
как на городского дурачка.

ВЕЧЕРНЯЯ МОЛИТВА

Теней и бликов смутных битва
багрит закатный материк.
Моя вечерняя молитва
похожа на беззвучный крик.
В слезах, без позы и без грима,

стою, отверженная голь.
Жестока и неутолима
в груди клокочущая боль.
Перед эпохой, злой и жгучей,
с ее срамной неправотой,
как Достоевский, бьюсь в падучей,
бунтую гневно, как Толстой.
Когда сердца гнетёт разруха,
спит царство Божие внутри.
О, где вы, трубадуры духа,
провидцы и поводыри?
С восходом, душу не гнетущим,
я верил радужной судьбе.
Огни надежд на день грядущий
мерцали в утренней мольбе.
Но перед призраками ночи,
где тьма беззвездная окрест,
слова тревожней и короче,
и все надсадней жизни крест.
Мятежный шепот, в храме рея,
едва колеблет тишину.
Я не виню чумное время,
но сам за все себя кляну.
В миру корыстном и убогом,
где ум и совесть не в чести,
я прикипаю к лику Бога,
чтоб душу грешную спасти.
Меня трясет, как малярия,
разгул бесстыдства наяву.
Скоропослушницу Марию
губами терпкими зову.
Прошу у выси светлоокой
не славы и не серебра, —
лишь участи не одинокой
да мудрой дерзости пера.

Но, бесам ночи окаянной
ища святой противовес,
смогу ли болью покаянной
я докричаться до небес?..

МЫ — ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Да, мы — шестидесятники,
надежды переброд,
прорабы и десятники
очнувшихся свобод.
Поэты, математики,
толкавшие прогресс.
Очкарики, романтики,
метатели словес.
Растили бунт на кухне мы,
крушители химер.
Увы, они не рухнули
от наших полумер.
Нас охватила оторопь
и нас подмяла власть,
когда святая «оттепель»
на взлете пресеклась.
За наши неумения,
за то, что нрав обмяк,
швыряет в нас камения
бедовый молодняк.
Так, по Господней милости
подросшие, щенки
вонзают в грудь кормилицы
окрепшие клыки.
Мы шли, чтоб стать мессиями,
не потеряв лица,
да только не осилили
работу до конца.

Сломить шестидесятники
эпоху не смогли.
Грядущего десантники,
подбитые с земли.

В ЗАЩИТУ БАРДА

Не знаю я, кто это выдумал,
фанатик или лиходей —
лепить непогрешимых идолов
из грешных, путаных людей.
Певца вчерашние гонители
сегодня делают святым.
А ведь ему в земной обители
противен был кадильный дым.
От поздних славословий сладостных
унылый гул стоит в ушах.
Увы, от наделенья святостью
до святотатства — только шаг.
Когда иконами разменными
навешен бард на все углы,
пыл поклонения безмерного —
лишь продолжение хулы.
О, эти копии несметные!
Не отразит людской любви
обронзовение посмертное
Судьбы на хрипе и крови.

КОЛОКОЛЬЧИКИ БУЛАТА

Я побывал на даче Окуджавы.
Ввела меня из нервной маеты
калитка в листьях,
бронзовых и ржавых,
в пространство аскетичной чистоты.
Там с потолка, вися на тонких нитях,

высокой тайне вторят бубенцы.
Звоните, мои милые, звоните,
скитальцы, правдолюбцы, мудрецы!
О, сколько вас, святых и окаянных,
подаренных хорошими людьми,
фарфоровых, железных, деревянных,
лепечущих о горечи любви.
И, глядя в мир, что зелен и игольчат,
внимая вашим трепетам, Булат
уверен был, что каждый колокольчик
таит в себе младенческий набат.

Как трудно вам, смиренникам, страдальцам,
великую разлуку выносить!
Без нежности родных хозяйских пальцев
так хочется роптать и голосить.
Статичность фотографий поминальных
страстей провидца не отобразит.
В ухоженных вещах мемориальных
приглаженность какая-то сквозит.
Дом — сирота, и грусть его безмерна.
Всё есть: очки, тетрадь, карандаши…
Жилая обстановка достоверна.
И только нет трагической души.
За резкое признанье извините,
не смею нарушать музейный лад.
Звоните, колокольчики, звоните!
Быть может, и откликнется Булат…

ТРИ БОРИСА

Грустные ромашки,
хвощ да лопухи.
Тяпнем по рюмашке,
заведем стихи.

В тайне полумрака
здесь, за гаражом,
свечку Пастернака
мысленно зажжём.

И скорбящий Слуцкий,
как родных людей,
помянёт по-русски
рыжих лошадей.

Чичибабин, взором
прост и не мастит,
горстью помидоров
красных угостит.

Клевер да сурепка,
плющ да лебеда.
Век стегал их крепко,
дар секла беда.

Тот сдыхал в опале,
этот гнил в тюрьме.
Цензоры не спали,
бдел стукач во тьме.

В мире барбарисов,
хмеля да крапив
судьбы трех Борисов
горькой окропим.

И читать до третьих
будем петухов.
Можно ль жить на свете
без таких стихов?..

* * *

Даруй мне, время, мудрость немоты,
чтоб не утратить голоса былого
в поспешности и суетности слова,
озвучившего призраки тщеты.
Как будто нам язык щекочет бес,
поэты все — немного краснобаи.
И речь изнемогает, погибая
в пучине необузданных словес.
О, эта разговорчивая прыть!
В ней — парадокс, отрадный для сатрапов,
когда страшнее всех цензурных кляпов
безбрежная свобода говорить.

Даруй мне, время, мудрость немоты,
чтоб накопить в душе неизреченность.
Маячит в суесловье обречённость
духовности, любви и красоты.
Там, где сиял российской речи храм,
возвышенные фрески и детали
лихие словоблуды заболтали
и музыку преобразили в хлам.
Так пусть же храм, обугленный дотла,
восстанет вновь, прекрасен и спокоен,
всей мощью куполов и колоколен,
и запоют его колокола!..
Сквозь пытку бессловесной черноты
пусть мысль, как из бессвязного мычанья,
нам явит Слово — детище молчанья.
Даруй мне, время, мудрость немоты.

БЕСЦЕНЗУРНОЕ ВРЕМЯ

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,

И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Велимир Хлебников

Кричали: Погибла культура
от злого всевластья чинуш,
и давит лихая цензура
прозрения праведных душ!
Вопили: Тупые генсеки,
лелея свой хиленький культ,
безжалостно, как дровосеки,
таланты под корень секут!
Но ветер мятежного века
смял тяжесть огульных угроз.
Ни цензоров нет, ни генсеков,
ни сонмищ обкомовских бонз.
Но где ж вы, творцы и пророки,
где новых времен златоуст?
Где звёздные мысли и строки
из вещих провидческих уст?
Нагая явилась Свобода,
но в мир не пришла благодать:
печальны культурные всходы,
шедевров пока не видать!
Следы бездуховной пустыни
мешают свободно творить.
Увы, не умеем поныне
мы с небом на ты говорить!

НОСТАЛЬГИЯ ПО СТАЛИНУ

Вас жжёт тоска по Сталину
с казарменным покоем,
с порядочком, поставленным
железною рукою.

Вам не хватает Цезаря,
что всё решает сверху,
и бдительного цензора,
чтоб души сдать на сверку.

Вы истерично плачете
по дням с тотальным сыском,
по росписи палаческой
в конце расстрельных списков.

Тоскуете по качеству
юстиции разгульной,
повальному стукачеству
и клевете огульной.

По рвенью соловецкому
энкавэдэшной банды,
по запаху мертвецкому
гулаговской баланды.

Вы славите торжественно
вождя, прощая беды,
забыв, какими жертвами
оплачена Победа.

Мечтаете за чарками,
свободный дух охаяв,
вы о стране с овчарками
и сворой вертухаев.

Уводит время в сторону
от ужаса сквозного,
где тени «чёрных воронов»
и крик звонка дверного.

Но дышит твердь росистая
недавней катастрофой,
прослывшей всероссийскою
кромешною Голгофой.

Нет, племя бездуховное
не слышит опыт века.
Беспамятство греховное
затмило стоны зэков.

Страсть рабства осязаема,
и вознесён рабами
мираж — сапог Хозяина,
чтоб к ним припасть губами.

Неужто вы соскучились
по первобытным страхам,
по праву в яме скученной
истлеть безвестным прахом?..